

Ефим Гаммер

## Нобелевка

В тринадцать лет я достал в библиотеке за пределами дефицитную книгу о мушкетерах классного писателя Александра Дюма. Очередь на нее занял у меня Гриша – старший брат Лени Гросмана. Чтобы успеть с передачей, роман я читал, не отрываясь, всю ночь напролет, при свете фонарика. Попутно, дабы моему младшему брату Боре было не скучно спать со мной в одной комнате, я пересказывал ему тишком содержание пухлого тома. Наутро, когда Гриша, не опоздав, явился следом за восходящим солнышком, у меня поднялась температура. У Бори тоже.

Мама поставила диагноз: переутомление. Но потом, видя, что термометр зашкаливает, решила все же обратиться за помощью к практикующим врачам. Было воскресенье. Никто не работал, кроме «скорой помощи». Значит? Все правильно: мама смастерила нам компресс, а Гришу послала в телефонную будку звонить по известному номеру. Гриша и позвонил. И вызвал «скорую», сделал особо умный ход, чтобы помощь не валандалась.

Что же он такого сделал умного? А вот что! Он сказал, что у нас внезапно поднялась высокая температура. Произошло это, предполагает Гриша, вследствие общения с гостями из Одессы, которые намекали, что надо кипятком ошпаривать фрукты, привезенные ими, чтобы к ним не пристала холера. «Да-да! – подтвердил по телефону. – Не пантера, а холера».

Свои предположения Гриша высypал на ту еще почву! В литературе она называется благодатной. Не прошло и рекордного для стайерской пробежки по нормам 1958 года времени, как сирена разнеслась над Домской площадью у древнего собора и, заглупив

органическую музыку, по крутым лестницам нашего дома – улица Шкюню, 17 – застучали подкованные ботинки.

Квартиру забрызгали какой-то вонючкой, то ли жидкостью, то ли газом, и на плохом русском, превозмогая родной латышский, потребовали от родителей предоставить им для осмотра и изучения под микроскопом заразу.

– Какую заразу, скажите на милость? – спросила мама.

– От ваших детей.

– Это мои единоутробные дети! Какая от них зараза?

Оказывается, так подкованные ботинки, имеющие под белыми халатами еще и высшее медицинское образование, называли обыкновенные какашки, обладающие свойством безвозвратно ускользать в унитаз. Я специально употребил слово «безвозвратно». Суть в том, что эти аттестованные дипломами люди попросили у мамы на анализ наши с Борей – как они это дело назвали, не желая лишней раз упоминать про заразу? – «выделения организма» и для понятливости добавили: «фекальные массы». Из-за их акцента мне показалось, что вызванных по телефону гостей интересуют «фискальные массы». Этого добра ни я, ни Боря никогда не выделяли из своего организма. И мне стало совсем худо. Боре тоже. Нам после прочтения «Трех мушкетеров» представилось: мы попали под колпак герцога Ришелье и теперь несдобровать, покуда не выделим из организма «фискальные массы», которых в наличии быть не может, потому что их нет в наличии.

Меня с Борей завернули, не цацкаясь, в белые простыни и потащили в столь неприличном виде на улицу. А доставив в больницу, поместили в отдельную палату, будто мы особо важные для нашей оздоровительной медицины персоны. К двери приставили санитаря с мохнатыми кулаками, чтобы и в мыслях не держали насчет слинять от недремлющего сторожевого ока с подкованными ботинками. И что дальше? А дальше образованный в стенах института народ стал ждать наших какашек. Но тут возникла этическая проблема. Какашки – хоть убей их! – не хотели покидать наш организм, где были в сохранности, как за семью печатями. Наверное, боялись, что их примут за «фискальные массы» и потянут в милицию, дабы там они настучали на кого-нибудь из ближних, как Павлик Морозов. На кого они могли настучать?

Ясно, на кого. На моего папу Арона. Чуть ли не каждый вечер он слушал запрещенное радио. Я, понятно и без криминалистических изысков, подслушивал, затаившись в соседней комнате. В то убийственно интересное время запрещенное радио передавало так, что заслушаешься. Все из сказанного в эфир запоминалось с первой подачи. Причем настолько, что многое осталось в памяти до сих пор. Да и как забыть, если говорили о том, что Пастернак получил Нобелевскую премию за «Доктора Живаго», а советские люди, не имеющие представления об этом романе, напропалую критикуют его литературные достоинства, называя их недостатками. Особенно ухищрялись те, кто имел отношение к писательскому цеху и полагал, что таким образом продемонстрирует партийному руководству свою литературную грамотность и гражданственную сознательность, и гляди, если не нобелевку – она зарезервирована для Шолохова! – то какую-нибудь отечественную премию получит.

Помнится, «вражьи голоса» цитировали какой-то секретный документ № 20 из архивов МГК КПСС. Вот он: «Огромное возмущение вызвал предательский поступок Бориса Пастернака в коллективе студентов и преподавателей Литературного института им. Горького. Свое требование немедленно изгнать Пастернака из среды советских писателей, сурово осудить его предательство в отношении Родины, своего народа они изложили в коллективном письме к Правлению Союза советских писателей».

В 13 лет я в Литературный институт еще не собирался, хотя уже написал одно стихотворение. Но прочитал такое количество книг, что вполне мог написать стихов чуть побольше, с пару десятков. Вот и решил, чтобы зря не тратить койко-часы, сочинить на досуге, когда и температура по каким-то неведомым причинам испуганно соскочила с меня, что-нибудь для души. И сочинил:

Вы фискальных масс  
не найдете в нас.  
Скажем им: «атас!»  
И покажем класс,  
пролежав за так  
месяц весь без как.

«Так» и «как» – рифма, конечно, убогая. Но тогда, осенью 1958 года, я подобных литературоведческих тонкостей не знал. И очень гордился своим бунтарским сочинением. Читал его младшему брату Боре. И он тоже гордился, и тоже хотел проявить характер. Но... Врачи подсунули нам какую-то штуку в виде таблетки, и наше бунтарство закончилось на горшке. Надо заметить, вполне благополучно. Никаких лишних микробов в наших испражнениях, изучаемых под микроскопом, обнаружено не было. И санитарка сказала нам по секрету: «Кал у вас чистый». Мы с Борей помозговали, что она имела в виду, говоря «кал», и догадались – говно. Затем нам стало смешно. Нет, не оттого, что мы признаны здоровыми. А оттого, что обычные какашки имеют столько умных значений в русском языке.

Казалось бы, теперь, когда у нас даже «кал чистый» и температура 36 и 6, пора подумать о выписке. Но нет: инкубационный период! Лежи, плюй в потолок и думай. Или пиши стихи, раз прорезался талант, а то у него, у таланта, как поговаривали взрослые, свойство закапываться в землю. «Свой талант в землю не закопаю!» – решил я на больничной койке и бросился сочинять изо всех поэтических сил. Мой папа Арон говорил: «Чтобы сочинять по делу, нужно быть осведомленным в нем». Тут и возникла шальная мысль: «А почему бы не написать, что я слышал по радио?». Ситуация знакомая, «радийных» высказываний в запасе достаточно. Каких? Обычных, что на всех мегагерцах: «доктор Живаго», «не читал», «клеймо позора».

Только я в уме повторил весь набор словоизлияний народа, как пошло-поехало. И, главное, получилось.

Я тоже не читал о докторе Живаго.  
Но знаю очень много о врачах.  
Они копаются в холерных наших каках,  
чтобы росточек жизни не зачах.  
Поэтому не вешайте врачу клеймо позора.  
Иначе он отдаст вам микроскоп.  
И будете с надменным вашим взором  
смотреть в свое говно, чтобы найти микроб.

Больше всего мне в этом стихотворении понравилось, что я приспособил к нему лермонтовское слово «надменный», которое в обыденной – не поэтической – речи не употребляется, и, следовательно, могу себя отныне величать, как и он, «любимцем Феба».

Иерусалим

